

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XVIII в.

Г. А. Гуновский

1

Изучение русской литературы XVIII столетия издавна, еще с середины прошлого века, было сосредоточено главным образом в руках «академических» ученых, находивших в кропотливых разысканиях мелочей прошлого отдохновение от не удобной им современности, угрожавшей их консервативному или даже казенно-монархическому мировоззрению напором новых демократических сил. Великие традиции Белинского и Добролюбова, начавших свое литературное поприще именно работой о журналистике XVIII столетия, ревизовались в трудах Пышина и затем — по другой линии — в меньшевистской концепции «Истории русской общественной мысли» Плеханова. В начале XX в. буржуазно-эстетское любованье культурой барских усадеб проявилось и в любовании самым неприятным, что оставило нам XVIII столетие в области искусства, — лицемерной пасторальностью и чопорным барством. Советская наука получила, таким образом, в наследство от прошлого в данной области — работы плеяды великих демократов и множество накопленных академической наукой фактов, иногда весьма ценных, но всегда требующих переоценки, классификации, освещения, подлинно научных. Немало пришлось поработать советской науке и над преодолением формалистических и вульгарно-социологических извращений, упорная борьба с которыми продолжается и по сей день.

И тем не менее в настоящее время, оглядываясь на пройденный за двадцать лет путь, мы можем сказать с уверенностью, что и в данной области сделано немало. Наши представления о русской литературе XVIII столетия — совсем не те, которыми довольствовались, напр., высшая школа дореволюционного прошлого. Множество новых фактов и материалов вошло в поле зрения науки, много ценностей переоценено; научный метод марксизма дал свои плодотворные результаты и в применении к материалу русской литературы XVIII в. Постепенно начинают вырисовываться очертания будущего единого построения, единой концепции развития

литературного процесса на данном участке; и решимость Института литературы Академии Наук СССР приступить к изданию монументальной истории русской литературы вполне оправдана в отношении к двум томам, отводимым XVIII столетию, как и в отношении других частей создаваемого коллективного труда.

Всего лишь несколько лет тому назад мы, исследователи русской литературы XVIII в., могли только мечтать о том, что произведения великих мастеров художественного слова этой эпохи, что замечательные явления общественной мысли до-пушкинского времени привлекут внимание широкой советской общественности. Мы тогда считали программой-максимум для нашей науки наше пожелание, чтобы русская литература XVIII столетия стала достоянием советской школы, чтобы издания русских писателей XVIII столетия появились на витринах наших книжных магазинов, на полках наших массовых библиотек, в руках у многочисленных любителей художественного слова нашей родины; может быть, следует отметить, что эти наши пожелания и запросы некоторым казались тогда, еще в 1932—1933 гг., непомерными и неосуществимыми.

Но вот прошло пять-шесть лет, — и то, к чему мы стремились, как к идеалу, в сущности, уже завоевано. Это были пять-шесть лет грандиозного роста мощи и величия нашей социалистической родины и социалистической культуры в ней. Много идеалов стало за это время реальностью. И теперь уже никого не удивят требования, выдвигавшиеся нами тогда. Теперь уже никто, кроме каких-нибудь отсталых ретроградов, не будет относиться к творчеству великих людей XVIII в., как к курьезу, к пыльному экспонату кунсткамеры. Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, Державин, Радищев, Карамзин занимают подобающее им место в преподавании литературы в средней школе. Восемнадцатый век изучается в специальных ячееках литературоведческих научно-исследовательских учреждений Советской страны. Одно за другим выходят в свет издания русских писателей XVIII в., научные и популярные. Советский читатель получил в новых изданиях не только произведения таких титанов мысли и искусства, как Ломоносов, Фонвизин, Державин, Радищев, но и Чулкова, и Капниста, и Княжнина, и Тредиаковского, и многих других. И нужно сказать, что эти книги не залеживаются в магазинах, а расхватываются немедленно после выхода их в свет, несмотря на большие тиражи их («Недоросль» был издан за последние годы не в одной сотне тысяч экземпляров). Русской литературе XVIII столетия постоянно посвящаются лекции в лекториях, домах культуры, клубах; «Недоросль» постоянно идет на сценах наших театров — и в центрах и в колхозах. В нашей прессе можно встретиться с цитацией писателей XVIII в., даже таких, напр., как Сумароков. Массовая аудитория с огромным интересом воспринимает художественное исполнение произведений XVIII в. мастерами-чтецами, и каждому из нас, специалистов, многократно приходилось испытывать радостное волнение, убеждаясь воочию, как живо, как глубоко

реагирует наша массовая аудитория на горячий монолог Радищева, на блестящую поэтическую картину Державина.

Нет сомнения в том, что решающую роль в общем оживлении работы, в подъеме общественной значимости этой работы по изучению и пропаганде литературы XVIII в. сыграли руководящие указания вождей Партии и Советского правительства, указания центральной партийной печати, то внимание, которое прошлому русской культуре уделяет Советская власть и Коммунистическая партия. Юбилейные даты — Ломоносовские дни, Радищевские дни, — показали, с каким уважением относятся Партия и Правительство к великим деятелям XVIII в. Творческие импульсы, исходящие от центральных органов нашей страны, сообщаются работникам науки, школы, пропагандистам культуры в широких массах. И работа спорится, дает положительные результаты, несмотря на ряд отдельных ошибок, срывов, иной раз и вредных отклонений у отдельных работников.

Общий подъем научной работы в области изучения русской литературы XVIII столетия настоятельно ставит вопрос о переходе от отдельных наблюдений и собирания материалов к обобщающим концепциям. У нас в распоряжении находится много накопленных более чем полувеком фактов; наступила пора осмыслить эти факты, привести в систему накопленные богатства. Это не значит, конечно, что мы должны успокоиться на том количестве фактов и наблюдений, которые уже у нас есть; напротив, ведь, строго говоря, накопление фактов «вне концепции», впрямь, для какого-то будущего ученого, которому придется строить концепцию из этих фактов, — вещь довольно безнадежная. Никогда не бывает и не может быть так, что сначала наука собирает все факты, а затем приступает к осмыслению их. Ведь количество «фактов» вообще бесконечно; ведь беспринципное подбирание «фактов» накапливает множество материалов, ненужных для науки или мало ценных для нее; ведь только с точки зрения концепции, построения, системы самый «факт» становится фактом, т. е. приобретает значение исторического свидетельства; ведь, блуждая без концепции по неизведанным полям, мы неизбежно заблудимся и не увидим, может быть, самого главного из того материала, который мы перебираем. Поэтому именно теперь, когда предварительное развитие нашего знания о русской литературе XVIII в. позволяет нам уже подойти к построению общей концепции развития литературного процесса на данном его участке, работа по собиранию новых материалов, тщательные и даже частные разыскания не только не должны остановиться, но, напротив, должны быть всячески стимулированы и должны наполниться новым содержанием. Именно теперь для нас выясняются лакуны прежнего собирательства; мы знаем уже, что мы должны искать, куда направить поиски. Мы приобретаем новые критерии ценности материала, и иной раз невзрачный рукописный листок мало известного автора оказывается для нас «томов премногих тяжелей». Вместо фактогра-

фического собирательского самотека мы хотим поставить дело разысканий, публикации материалов, прояснения малоизвестных и неизвестных участков литературного процесса в плановом порядке, направляя усилия исследователей, архивистов, библиографов на те именно темы, которые необходимы для нашего общего построения, потому что мы должны признать, что, несмотря на обилие накопленных материалов, многого нам еще недостает, и общие наши представления о русской литературе XVIII в. во многом еще неполны, а иногда даже неверны — просто из-за неполноты наших фактических сведений, из-за недостаточности изучений, частных и общих.

2

Неполнота наших сведений о русской литературе XVIII века ощущается тем более остро, что нам, литературоведам, здесь далеко не всегда приходят на помощь и историки. Ведь и они не все еще прояснили в своем материале, ведь и на их картах все еще немало белых пятен, — и в особенности в области XVIII столетия.

Между тем нужно сказать прямо, что восполнить эти пробелы в соответствии с уровнем современной науки есть все возможности. И, пожалуй, нам нет необходимости кивать на историков и ждать от них готовых решений всех вопросов. Ведь мы должны помнить, что историк литературы — также историк, в первую очередь историк, что некоторые специфические черты изучаемого филологом материала не отменяют единства исторического метода и познания, что, снимая с себя бремя исследований истории социально-политической, историк литературы выплескивает из ванны ребенка вместе с водой. Может быть, именно на примере русской литературы XVIII века все это видно в особенности ярко, — потому что историку русской литературы этого столетия никак невозможно обойтись буквально на каждом шагу без осознания своего материала в теснейшей связи с фактами, условно говоря, чисто историческими.

Может быть, никогда русская литература прошлого не была так непосредственно, так прямо, так нескрываемо связана с текущей политической жизнью, как именно в XVIII столетии. Если мы не будем постоянно помнить этого, мы просто не будем понимать элементарного смысла тех произведений, которые мы изучаем. Мы должны уметь читать стихи и прозу XVIII столетия так, как их должны были читать современники; мы не должны придираться к отдельным словам, а должны научиться улавливать общее направление смысла произведения, и тогда и отдельные слова зазвучат для нас по-иному. Таким образом мы поймем, что монархические «восторги» од как Ломоносова, так и Сумарокова вовсе не означают, что один из них был «идеологом» двора Елизаветы Петровны, а другой — «идеологом» двора Екатерины Алексеевны; в системе образов этой эпохи, в системе стиля данного поэта,

в системе политического мышления его времени и его самого, в конкретной связи с событиями социальной действительности, его окружавшей, мы только и пойдем, что значили и что значат «монархические» темы у обоих этих поэтов. Мы пойдем, что значила и насколько необходима и прогрессивна в условиях жизни и мышления Ломоносова была концепция просвещенного абсолютизма; мы вспомним слова Энгельса о том, что на фоне феодальной путаницы «королевская власть была прогрессивным элементом. . . Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства» (Соч., т. XVI, ч. I, стр. 445).

С другой стороны, только в этой связи, на фоне идей Монтескье, — и, конечно, всего комплекса событий европейской действительности, породившей эти идеи, на фоне классовой борьбы в исторических судьбах русского дворянства XVIII века мы пойдем тот либерально-конституционный смысл, который имеет «монархизм» Сумарокова, который сказал ведь: «монархическое правление, я не говорю — деспотическое, — есть лучшее»; но ведь в России была во времена Сумарокова не монархия, а деспотия — по терминологии самого Сумарокова, или вернее, Монтескье. Таким же образом следует понять и отношение, скажем, Сумарокова или Фонвизина к крепостному праву. Оба они не были абсолюционистами, — это, конечно, так. Но ведь оба они различали в своей политической концепции «должное подчинение» крестьян дворянам, — как они хотели мечтать — лучшим людям, от рабства, которое они проклинали. Между тем, — что на самом деле было в России? В. И. Ленин пишет: «Крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от рабства» (Соч., т. XXIV, стр. 367). И вот Фонвизин, и даже Сумароков — боролись против рабства, боролись против самодержавной деспотии, несмотря на то, что они оставались дворянскими писателями, несмотря на то, что они не требовали ни республики, ни даже свободы крестьян. Потому что ведь дело вовсе не обстоит так, что мы должны, стремясь понять историко-литературный памятник исторически, понимать его только исходя из злобы дня, породившего его. Было бы вульгарно-социологическим извращением науки требовать от историка литературы сведения значения и смысла данного писателя или произведения к его злободневному смыслу в его время и только. Дело, конечно, вовсе не только в том, что Сумароков, говоря о своих политических идеалах, хотел уколоть Екатерину II или Гр. Орлова, хотел агитировать за Панина и за идеи Монтескье, за пример Англии и Швеции. Дело прежде всего в том, что эти уколы и эта агитация были борьбой против существовавшего режима, были культурной, — не побоюсь сказать, — просветительской пропагандой, и в этом смысле могли выходить и выходили фактически за пределы чисто дворянской (помещичьей) идео-

логии. Конкретно-историческое изучение литературы прошлого не есть сведение ее только к интересам и волнениям этого прошлого, а есть понимание ее в перспективе исторического движения этого прошлого, и от него — к настоящему, к нам, и в будущее, — в плане формулы Лейбница, так глубоко усвоенной Радищевым: *le présent est gros de l'avenir* — настоящее беременно будущим. С другой стороны это не значит, что мы должны изучать только лишь революционные течения русской общественной мысли прошлого, а не всю совокупность борьбы.

Если я полагаю, что не надо останавливаться на утверждении, что Сумароков хвалил Панина и осуждал Орлова, и думать, что тем самым историческое место Сумарокова указано, если я полагаю, что историческая роль Сумарокова более глубока, — то я думаю, тем не менее, что крайне необходимо знать о том, что Сумароков хвалил Панина и осуждал Орлова; без этого знания мы не поймем прямого смысла стихов Сумарокова; не поймем, конечно, и более глубокого значения его творчества. А для всего этого надо знать и понимать историю.

И прежде всего надо изучать классиков марксизма.

Всякому историку русской литературы XVIII века хорошо известно огромное количество произведений этого столетия, посвященных «подьяческой» теме. На продолжении пятидесяти лет писатели разных поколений, разных социально-политических ориентаций, разных стилей нападают с ожесточением на бюрократию: здесь и Сумароков, смертельный враг «подьячих», и Херасков, и Новиков, и Фонвизин, и Капнист, и Крылов, и Радищев, и многие другие. Но нет среди этих писателей Карамзина, нет В. Петрова, нет еще раньше Екатерины II, журнал которой «Всякая Всячина» взял даже под свою защиту обижаемых писателями подьячих. Мы видим, что в единой борьбе против бюрократии как бы образовался единый фронт всех прогрессивных сил литературы. И как хорошо мы поймем это, если усвоим достаточно глубоко ленинские положения о характере русской монархии в XVIII веке. В статье «Наши упразднители» (1911 г.) Ленин писал:

«Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничье-дворянскую монархию XVIII в. Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861—1904 годов. В 1908—1910 гг. явственно обрисовалась новая полоса, знаменующая еще один шаг в том же направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии» (Соч., т. XV, стр. 83). Ленин характеризует тот же процесс и в статье «Как социалисты-революционеры подводят итоги революции» (1909): «... Русское самодержавие XVII в. — с боярской думой и боярской аристократией — не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма“ и от обоих

резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное „сверху“ освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии. К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, полупатриархального самодержавия изжила себя. Переход к представительным учреждениям национального масштаба стал необходимостью под влиянием роста капитализма, усиления буржуазии и т. д.» (Соч., т. XIV, стр. 18).

Или еще один пример; достаточно известно, какое огромное значение имел образ Петра I в творчестве Ломоносова, но далеко не только одного Ломоносова, а почти всех писателей XVIII в., и Радищева в том числе. Но мы хорошо поймем весь драматизм борьбы за образ Петра между Ломоносовым, Фонвизиным, Радищевым, с одной стороны, и, напр., Екатериной II — с другой, если усвоим во всей глубине характеристику Петра, данную нам Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным.

В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом Сталин указал, что «Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев» (Большевик, 1932, № 8, стр. 33). При этом Сталин указывает также, что «возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры» (там же). Энгельс писал о Петре: «Этот действительно великий человек, великий совсем не так, как Фридрих „Великий“, послушный слуга преемницы Петра, Екатерины II, — первый вполне оценил изумительно благоприятную для России ситуацию» (Соч., т. XVI, ч. II, стр. 10).

Ленин сказал: «Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» (Соч., т. XXII, стр. 517).

Эти указания, дающие совершенно единое толкование роли Петра и его деятельности, должны обосновать наше понимание как литературы времени Петра, так и литературы после-петровской, так и самой темы Петра в русской литературе.

Так же обстоит дело и с другими проблемами; обращаясь к классикам марксизма, мы черпаем у источника понимания глубоких основ историко-литературного процесса XVIII века.

3

Совершенно понятен и закономерен особый интерес, проявленный советской наукой по отношению к демократическим течениям русской литературы XVIII столетия. Дореволюционная традиция русской официально-академической и буржуазной науки дала в этом направлении очень мало материала. Только работы

В. В. Сиповского о романе XVIII в. пытались разбить общее представление о благополучии якобы преобладавшего в XVIII столетии дворянского незыблемого в своей власти классицизма и дворянского искусства вообще. Привычные представления о составе русской литературы этого времени, о списке имен и произведений, подлежащих изучению, держались в науке очень крепко. Изучались по преимуществу немногочисленные корифеи дворянской культуры, причем борьба литературных групп, направлений, стилей почти полностью игнорировалась. Советская наука не могла удовлетвориться таким положением. Начались поиски антидворянских, демократических, идеологических и, в частности, художественных фактов. Поиски эти на первых порах велись неорганизованно, иной раз и необдуманно, притом и без должной дифференциации явлений разного социального и стилистического порядка. Так, слишком много внимания уделялось проявлениям эпигонской, безидейной литературы мещанского склада, рассчитанной на всевозможные охвостья господствовавших классов, лишенной художественной и идеологической значимости, лишенной подлинной культуры, характерной, напр., для фольклора; так оказались без толку выдвинутыми компиляции и переводы Матвея Комарова. С другой стороны, стремление во что бы то ни стало «найти» буржуазную, реалистическую, антифеодальную литературу могло приводить к поспешному зачислению в соответствующие рубрики писателей, мало повинных и в буржуазности и даже в реализме и т. д., связанных еще по преимуществу с дворянским классицизмом (напр. В. Майков). Между тем положение в XVIII столетии было действительно таково, что дворянский классицизм даже в пору его расцвета, в 1750—1770-х гг., удерживал свою внешнюю гегемонию лишь в отчаянной борьбе — и не только с казенно-правительственной идеологией (дворянский классицизм в это время был связан с либерализмом в среде дворянской интеллигенции); ему приходилось выдерживать натиск внедворянских идеологических и, в частности, литературных течений, шедших из «низов». Эти литературно-идеологические течения мы можем и должны проследить в их развитии на протяжении всей второй половины XVIII столетия. При этом дело идет не о «мещанской», «мелкотравчатой», «низовой» культуре и литературе, а о явлениях большой культурной высоты, явлениях большого идейного и художественного напряжения, передовых и во многих отношениях ведущих в свое время.

Уже с середины XVIII в., с Ломоносова, идет накопление демократических сил в идеологической сфере, которое в конце столетия, после восстания Пугачева, в пору буржуазных революций в Америке и во Франции, дает фигуру потрясающей яркости и силы — Александра Радищева. Именно сюда, на поиски подлинно демократических фактов литературной борьбы, и должно быть направлено внимание советских исследователей. Пора уже доказать, что Радищев вовсе не был одиночкой, случайным, незакономерным явлением, якобы не характерным для русской действительности

XVIII столетия, как в этом хотели убедить русскую науку буржуазные ученые.

В самом деле, как только советские ученые принялись за разыскание соответствующего материала, немедленно открылось, что буржуазная легенда о Радищеве и о русской культуре XVIII в. вообще, очевидно, противоречит фактам. Оказывается, что, уже начиная с 1750-х гг., в Москве и в Петербурге действует весьма активно целая группа литераторов, ученых и публицистов определенно демократического типа. Мыслители и деятели либерально-дворянского лагеря, такие, как, напр., Новиков, как ни положительно мы расцениваем их прогрессивную общественную пропаганду, оказываются вовсе не самыми передовыми идеологами своего времени. Наоборот, такие литературно-общественные деятели, как Я. Козельский, Д. С. Аничков, С. Е. Десницкий и др., материалисты и просветители в самом высоком смысле этого слова, противники феодальной системы общественного уклада и самых основ феодального мировоззрения, — осуществляли на самом деле «крайне левую» группу в культурном движении эпохи. Это были профессора, переводчики, обильно выступавшие в печати не только с научными, но и с популярными произведениями, с публицистическими, философскими, политическими книгами и статьями, а также с художественными произведениями. Они оказывали существенное влияние на сравнительно широкую аудиторию и своей литературной деятельностью и своей работой в качестве педагогов. Их значение в культурном движении их времени было весьма велико. Как только мы введем их деятельность и творчество в круг фактов, образующих картину этого культурного движения, самая картина сильно изменится. Между тем можно быть уверенным, что дальнейшие разыскания и в рукописных собраниях и просто среди забытых, хотя и не заслуживающих забвения, книг дадут еще материалы, пополняющие наши только что образовавшиеся представления о демократической литературе XVIII столетия. Уже намечается группа поэтов, находившихся под влиянием радикально настроенных публицистов 1750—1780-х гг., поэтов-«разночинцев» XVIII столетия (Федор Козельский, Побединский и др.). Уже можно проследить наличие антидворянской и достаточно передовой струи в среде русских «самородков», иногда достигавших значительной культуры; так, напр., яркую страницу в истории русской культуры и литературы XVIII в. составит богатый архивный и забытый печатный материал о Федоре Каржавине, давно ждущий опубликования и напоминания о себе (над этим материалом много поработал В. И. Коплан). Целый ряд других литературных фигур ждет своего «открытия» в этом плане; так, напр., предпринятое А. В. Западным исследование деятельности Н. И. Стрехова, сатирика конца века, также дало весьма интересные результаты.

Совершенно особое место в общем соотношении сил русской литературы последней четверти XVIII в. занимала целая группа писателей, которых мы можем пока что условно обозначить как

Крыловскую группу. Роль ее в литературе 1780—1790-х гг. была, без сомнения, очень и очень значительна. Без учета ее едва ли мы сможем правильно понять историко-литературное место и Державина, и Радищева, и Карамзина. Между тем даже сам молодой Крылов еще недавно представлял собою загадку. Разработку вопроса о молодом Крылове до революции начал В. В. Каллаш, сделавший много для изучения Крылова. Затем эта тема привлекала и привлекает внимание советских исследователей; В. П. Семенников, А. Я. Кучеров, Б. И. Коплан, А. В. Десницкий и др. соединенными усилиями продвинули вопрос, впрочем, требующий еще многих разысканий и соображений. Мы уже знаем, что молодой Крылов, радикал, демократический писатель, поэт, публицист, драматург, один из наиболее блестящих мастеров прозы XVIII столетия, был связан с Радищевским кругом (независимо от вопроса об участии Радищева в «Почте Духов», вопроса, который, видимо, приходится решать отрицательно). Мы уже обратили внимание на журналы Крылова, на этот расцвет острой прогрессивной политической сатиры в самый момент взрыва революции во Франции. Но до сих пор остается нерасследованным до конца вопрос о самой группе Крылова. Сведения о Рахманинове-«вольтерьянце», о Клушине, имеющие хождение в науке, пока что фрагментарны и недостаточны. Между тем мы можем уже теперь утверждать, что журналы «Крылова с товарищи» были штабом целого кружка писателей антидворянской ориентации, что этот кружок активно действовал в умственной жизни конца XVIII в., что он существенно характеризует подъем демократической мысли того времени. Крылов, Клушин, Бухарский, Плавильщиков, Дмитриевский, Н. Эмин и другие члены этого кружка составили значительный участок литературы своего времени. Весьма знаменательна и деятельность писателей, входивших в эту группу, в театре. Именно театр был той кафедрой, тем мощным орудием пропаганды, завоевать который было очень важно для передовой литературы, хорошо учитывавшей роль театра в подготовке умов к революции во Франции. Нужно думать, что в театральной жизни Петербурга и Москвы в конце XVIII в. наметились свои «партии» и в публике и среди работников театра и драматургии. Советским ученым предстоит еще рассказать о демократической, антифеодальной «партии» в конце XVIII в., о ее театральном стиле, о ее идеологии, о ее борьбе с придворным театром и с официальным театральной начальством, о ее победах и поражениях.

Когда все указанные вопросы, — и ряд других аналогичных, — будут освещены наукой, мы увидим воочию, что традиции русской литературы в предпушкинскую пору вовсе не исчерпывались Карамзинской школой и «архаистами» круга Шишкова, что деятельность «поэтов-радищевцев» из Вольного общества не была явлением единичным и случайным, что сатира Нарезного была продолжением большого течения, что проблемы народности и реализма подготовлялись в своем разрешении еще в XVIII в., что Пушкин и в этом

отношении явился итогом большой и плодотворной работы многих и многих деятелей передовой культуры.

В самом деле, уже XVIII столетие вновь поставило в литературе проблему обращения к источникам народного творчества как к живительному роднику культуры. Нужно помнить, что в течение всего XVIII в. фольклор оставался живой силой в быту почти всех слоев русского общества. Даже русские помещики того времени воспринимали народную песню, сказку, поговорку от своих мамушек-нянюшек, от крепостных «дядек», от своих крестьян у себя в поместье, — с самого детства. Для купечества, мещанства, не говоря уже о крестьянстве, фольклор, и старинный, унаследованный от дедов, и творимый вновь и развивающийся, был основой художественного мышления, фундаментом эстетической практики. Однако тут же следует уточнить и разграничить явления различного порядка. Никким образом не следует смешивать дворянские и тем более придворные стилизации фольклора с демократическими явлениями искусства, органически возникавшими на его почве, вводившими его в литературу как идеологически ответственнейший элемент ее. Правда, относительная близость к фольклору вносила характерные черты в облик русского классицизма, чуждые и классицизму Буало и Расина и немецкому классицизму Готшеда, — так же как в облик русского дворянского искусства вообще. Эта близость к стихии народной речи отразилась и в метком, остром реалистическом слове Фонвизина, и в не организованной никакими учеными канонами речи Державина со всеми ее «неправильностями» с точки зрения школьной грамматики литературного языка дворянства, и даже в свободных ритмах его поэзии. И, может быть, самым далеким от народной стихии слова и искусства оказался Карамзин, несмотря на его умиление по поводу свободных швейцарских пастухов и на его поэму «Илья Муромец», более близкую к Ариосто, чем к былинам. Когда перед ним стал вопрос о романтическом воссоздании национальных культур в искусстве, ему было более с руки строить романтические образы в окружении испанской рыцарской традиции или оссиановских легенд, чем обратиться к русскому фольклору. Тем же путем пошел и Жуковский; и здесь они следовали Западу; но для германских поэтов германская романтика средневековья была полна своего национального пафоса, для русских — она была чуждой, отводящей от своей действительности, от своего народа; дворянское искусство России, имитируя передовую мысль Запада, делало это в конце века ради отечественной реакции. Само собой разумеется, что более или менее демократические течения русской литературы использовали фольклор сознательно — как искусство национальное и демократическое, как свое собственное искусство.

Именно история фольклорных исканий внедворянской литературы в особенности важна в смысле подготовки проблемы народности в новой русской литературе, хотя, конечно, самая народность нисколько не сводится к внешнему сближению с фольклором.

Это становится достаточно ощутительным, если мы сравним фольклоризирующую работу Чулкова, Попова и их преемников с официально-правительственной квасной «народностью», которую пропагандировала с трона и сама Екатерина, начиная с середины 1770-х гг. Пример работы Чулкова с русскими пословицами — на фоне официозного сборника пословиц Богдановича или, тем более, жалких попыток в данной области самой Екатерины, — вполне выразителен (см. статью А. В. Западова в настоящем сборнике).

Вопрос о фольклорных исканиях русских писателей XVIII в. должен быть поставлен в теснейшую связь с более общим вопросом о проблеме национального самосознания в русской литературе этого времени. Мы можем констатировать, что глубокое разрешение этой проблемы мы находим именно в тех течениях литературной мысли XVIII столетия, которые базируются на демократической идеологии — в большей или меньшей степени. Ломоносовский пафос построения национальной передовой государственности, пафос петровских реформ и петровских побед, звучащий во всем его творчестве, отразился не у Карамзина, а у Радищева. Дворянской культуре, по существу тяготеющей к феодальному космополитизму, противопоставляет себя Лукин со своей идеей не только национальной драматургии, но и драматургии для народа. И совершенно неправы были дворянские либералы, злорадно подчеркивавшие иноземное, французское происхождение и идей и пьес Лукина; его идеи, как и пьесы, действительно, во многом пришли к нам с Запада, но тем не менее они приводили к постановке проблемы национального искусства; в этом смысле борьба Лукина с дворянскими драматургами в высшей степени знаменательна.

Конечно, никак нельзя думать, что вопросы национальной культуры, национального самосознания прошли мимо дворянской литературы. Но они характерным образом выдвигаются и в ней на первый план лишь в тех участках ее, которые преодолевают специфичность дворянского мировоззрения, — и в то же время — рамки дворянского классицизма. Острота борьбы наиболее последовательных и смелых представителей дворянского либерализма против деспотии и рабства, резкость и убедительность их критики социальных порядков того времени приводила к тому, что в их творчестве взрывались самые основы феодального мышления; таков был итог работы Н. И. Новикова в 1769—1772 гг., таков был итог творчества и политической борьбы Фонвизина. С другой стороны, органическое «плебейство» Державина, приближавшее его к народной стихии и в складе его речи и в его сложных поэтических образах, может быть, против его воли приблизило его к демократическому мировоззрению, — и в формах его своеобразного гуманизма, и в формах его яркого патриотизма. Именно эти представители, — условно говоря, — дворянской литературы оказались в своем творчестве подлинными патриотами, несправедливо многие в своей стране именно вследствие сознательной любви к ней; Фонвизин и Державин на вершинах художественных достижений XVIII сто-

летия в России готовили почву для объединения тончайшего мастерства с демократической народной основой, для нового искусства, осуществленного Пушкиным.

Недаром учеником — во многом — Державина был в своей поэтической работе Радищев; недаром он ценил Фонвизина и использовал его сатирическую манеру, как и его языковые открытия; и в то же время Радищев был наследником русских демократов-мыслителей, наследником и Чулкова. Он же был, вероятно, вдохновителем Крылова. В нем сошлись пути развития русской передовой культуры XVIII столетия.

Радищев — одна из величайших проблем русской литературы до-пушкинского времени. На изучение его, на осмысление его деятельности придется еще советской науке положить немало сил, и она обязана выполнить эту почетную задачу.

В. И. Ленин писал в 1914 г.: «Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика» (Соч., т. XVIII, стр. 81).

Итак, линия преемственности революционной мысли и революционного действия, традиция подлинного демократизма находят свое первое замечательное проявление в деятельности Александра Николаевича Радищева.

Радищев — поистине колоссальная фигура. Очень и очень многое в русской действительности и культуре конца XVIII и начала XIX вв. может нам уяснить изучение Радищева. Его деятельность и творчество были итогом накопления сил демократической мысли XVIII столетия, и он явился на заре будущих революционных движений — декабристского ближайшим образом. Пушкин, поэт декабристского движения, органически связан с опытом Радищева, определившим вообще много прекрасных проявлений творческого духа и освободительной мысли в русском обществе начала XIX столетия, да и позднейших времен. К сожалению, приходится констатировать, что и до недавнего времени были не до конца изжиты привычки недооценки Радищева.

Радищев был последним и наиболее блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов XVIII столетия в России. В этом отношении за его плечами стояла традиция, начатая Ломоносовым и продолженная более скромными деятелями, вроде Я. П. Козельского. Именно эту традицию завершал Радищев, не уступавший в широте своих знаний лучшим людям мировой культуры XVII—XVIII вв. Фундаментально изучил Радищев все существовавшие в его время науки, и во всех был не столько учеником, сколько самостоя-

тельным мыслителем. Он владел достижениями науки его времени в области физиологии, химии, физики, анатомии, минералогии, ботаники; он был политико-экономом и юристом по специальности и писал в этих областях, он написал историческое исследование, экономическое исследование, работы по теории стиха, он написал обширный и блестящий философский трактат, он говорил как знаток об агрономии в «Описании моего владения», он знал литературу от Гомера до Гете, не исключая поэтов восточных.

Но важнее, быть может, то, что Радищев несколько не был коллекционером знаний. Во всем и всегда, в каждом вопросе и в каждой науке он был все тем же энтузиастом революции. Поразительны целеустремленность Радищева и глубоко активное отношение его ко всем вопросам. Все, что он знает, он использует для построения единого революционного мировоззрения. Он принципиален, как революционер, о чем бы он ни говорил. Первое, основное и важнейшее для него — это социально-политические проблемы. Но даже в «Путешествии» он ставит множество других проблем, — и все под единым углом зрения. В «Путешествии» он говорит о философии, о праве, о морали, о бытовых проблемах, о воспитании, об искусстве и литературе. Тем не менее «Путешествие» — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению.

Социальное мышление Радищева опирается на учение французских просветителей и на Руссо, бывшего первым и основным учителем Радищева. Как философ Радищев приближается к последовательному материализму, и в этом отношении подводя итог работе целого ряда русских мыслителей-вольнодумцев XVIII столетия, учеников Гельвеция и Гольбаха. Однако уже в освоении результатов французской литературы Радищев проявил высокую степень самостоятельности. Он несколько не пассивный ученик. Он сам — один из плеяды европейских просветителей XVIII в., притом один из наиболее сильных умов в этой блестящей плеяде. Он черпает не только из французских традиций, но и из английской. Наконец, он осложняет механистическую систему французского энциклопедизма исторической динамической концепцией, выросшей на почве германской философии, английской исторической науки и политической экономии. Он старается осмыслить историю как закономерный процесс, найти законы ее движения, и этот историзм делает его в ряде вопросов более прозорливым, чем могли быть его французские предшественники.

В итоге мы имеем в «Путешествии» и в других произведениях Радищева своеобразную концепцию философского и социально-политического мировоззрения, выросшую на русской почве, хотя и вобравшую все передовые элементы западной мысли. Именно условия русской действительности заставили Радищева быть не совсем тем, чем был даже Руссо. Именно крепостное рабство русских крестьян заставило его уяснить вопросы революции более отчетливо и шире, чем это мог сделать любой из публицистов Франции XVIII в., даже Мабли. «Путешествие из Петербурга в Москву»

было рупором народного протеста и гнева, в наименьшей степени преломленного через призму буржуазности в силу специфически русских условий.

Революционное отношение к народу определило и отношение Радищева к эстетической культуре народа. Интерес Радищева к фольклору имел иной характер, чем фольклорные увлечения русских писателей, работавших до него. Подражания народной поэзии у дворянских писателей означали допущение этой поэзии в круг явлений, признаваемых эстетически приемлемыми. Фольклоризацию, более принципиальную, мы видим у Чулкова и Попова. Но и у них нет, конечно, признания народной поэзии высшей ценностью, нет широкого философского подхода к ней. Радищев же, для которого моральная культура народа — высшая культура, видит в художественном творчестве народа основу подлинного искусства. Он чужд уважения к классическому космополитизму. Он усвоил точку зрения Гердера на национальную народную поэзию, как на «голоса народов», и считает, что произведения индивидуальной литературной культуры должны включаться в единую систему этих голосов народа.

В данной связи существенно и стремление самого Радищева творить на основе русского фольклора, выразившееся, напр., в его поэмах «Бова» (Радищев считал «Бову» народной сказкой, какой она, в сущности, и стала в XVIII в.) и «Песни древние». В русской народной песне Радищев искал отпечатка свойств русского народа, его исторически сложившегося характера и — в этом специфическая черта Радищевского подхода — его будущей судьбы, его возможностей в смысле революционного действия. Русская старина для Радищева — не сфера удаления от современности, а отправная точка для ориентирования в ней. Формы старинной русской поэзии являются для него проявлением того творческого национального духа, к восстановлению которого он стремится, выступая против дворянской культуры. Пафос гражданской демократической героики, а не феодальный консерватизм, побуждает Радищева писать поэму «Песни древние», попытку воссоздания бытия и психологии древних славян; и к «Слову о полку Игореве», использованному Радищевым в этой поэме, он относится таким же образом.

4

Изучение вопросов демократической мысли и вопросов народности в русской литературе XVIII столетия не может не быть связано теснейшим образом с постановкой и изучением вопроса о реализме в художественном творчестве русских писателей этого времени. Проблема реализма принадлежит к важнейшим проблемам, подлежащим обследованию советской науки и на данном ее участке. К этой проблеме необходимо подойти осторожно, без преждевременных и необоснованных эффектов. Дело в том, что с начала следует признать реализм, как законченный стиль, ка



жественную формулировку целостного мировоззрения, как полноценную систему восприятия действительности и борьбы за действительность, — созданием русских писателей XIX столетия, в первую очередь Пушкина. Восемнадцатое столетие не могло дать и не дало в литературе такой законченной системы реалистического миропонимания и искусства, поскольку, конечно, речь идет о «книжной» литературе: народное творчество, фольклор издавна создавался в русле глубоко реалистической системы мысли и стиля, и к реализму же с древнейших времен тяготели писанные памятники, близкие к фольклору, выросшие на народной почве.

Не следует приписывать кому бы то ни было из писателей XVIII в. то великое дело, которое смог осуществить только Пушкин; но писатели XVIII в. накопили немало материалов для будущего реализма; реалистические элементы возникли в искусстве, в особенности в второй половине столетия, в изобилии у разных писателей, в различных литературных течениях и группах, и эти накопленные богатства легли в основу того великого построения, за которое смог взяться Пушкин.

В настоящее время мы можем — поневоле условно и отчасти предположительно — только лишь наметить основные линии, по которым шло формирование реалистических элементов в литературе XVIII в., в частности во второй половине его.

Прежде всего следует указать на мощную струю реализма, возникшую на основе самого русского классицизма. Еще у Кантемира, готовившего почву для развитого классицизма в России, сильно реалистические тенденции, хотя, может быть, в данном случае правильнее было бы говорить о натуралистическом характере изображения конкретных черт быта в сатирах Кантемира. Однако чрезвычайно важным представляется нам то обстоятельство, что уже первые опыты такого изображения в новой русской литературе связаны именно с сатирой, с рождающимся «сатирическим направлением» в русской литературе, зачинателем которого, именно Кантемира, основательно считал Белинский. Канонизатором русского классицизма был Сумароков; и у него, наиболее последовательного «классика» в русской литературе, принцип отрешенности от конкретных фактов действительности, рационалистического обобщения и понятийной отвлеченности не смог овладеть всей совокупностью его творчества. При этом живые и конкретные отклики на реальную жизнь мы находим у Сумарокова не в «высоких» жанрах, посвященных выявлению его идеала, а именно там, где он озлобленно нападает на отклонения от идеала, являющиеся для него слишком реальной, печальной и непримлемой действительностью. То же самое мы видим и у представителей второго поколения русских классицистов, даже у Хвраскова, Ржевского и др. Тут же необходимо оговорить, что реалистические элементы мы ни в какой степени не должны усматривать повсюду, где мы встречаемся с «низким» стилем, с речевой грубостью или даже

с отдельными упоминаниями бытовых предметов или «бытовизма» вообще. Реализм, — даже если говорить только лишь о формировании элементов его, — вовсе не сводится к разговорам о кабаках или почных туфлях. Реализм — это мировоззрение, а не слова. Реализм — это определенное отношение к действительности, а не аморфный выбор тематических мотивов. Поэтому и в творчестве Сумарокова следует видеть некоторые, еще слабые, моменты реалистического характера не потому, что он грубовато и смешно балагурит в своих «пригках», а потому, что отрицательные — с его точки зрения — явления общественной жизни он показывает конкретно, как реальные факты действительности, а не отвлеченно-типологически по «эстетике Декарта».

И в этом сказались существенные специфические черты русского классицизма XVIII в. по сравнению с его западными прообразами и собратьями. Русский классицизм был поздним цветом; он строился в ту пору, когда он уже рассыпался на Западе. Он строился уже независимо и с самого начала нес в себе черты собственного распада. Он строился в условиях борьбы за существование русского дворянского либерализма, и по мере обострения этой борьбы с крепостнической деспотией он принужден был делать свое идеологическое оружие все более отточенным, острым, убийственным. Поражая врагов орудием сатиры, трудно было возноситься в сферу отвлеченных идеалов. В целях яркости, «доказательности» своей пропаганды надо было показать ужасную правду в ее наготе. И вот именно у наиболее острого и передового политического мыслителя этой традиции, предпринявшего напряженнейшую борьбу с рабскими формами крепостничества и с варварскими методами управления деспотии, у Фонвизина, строится по-настоящему реалистическое отношение к действительности и опять в пределах сатирической темы, в меру критики социально-политического уклада страны. Ведь, нападая на рабство и деспотию, Фонвизин волей-неволей делал прогрессивное дело не только в интересах либерального дворянства, но и в интересах свободы страны в целом.

Зарождение критического реализма у Фонвизина, замечавшееся еще у его предшественников, сатириков-классицистов, характерным образом было связано и с философски-эстетическим мировоззрением, свойственным данной литературной традиции. Русские классики считали ценным в плане идеологическом не конкретно-единичное бытие, а понятие, схему идеального или «разумного». Реальность российской общественной жизни их времени была в их сознании отрицательна в каждом единичном конкретном своем проявлении; они представляли себе конкретную реальность дурной уже в меру ее конкретной специфичности. Индивидуальное в их глазах — всегда дурно, отрицательно, так как оно отклоняется от обезличенной логической схемы. Таким образом и теория русского классицизма могла допустить изображение конкретных реальностей — именно как отрицательного бытия. В этом сказывалась глубокая неудовлетворенность дворянских либералов-классиков

социальным укладом их отечества. Отсюда и общеизвестная двойственность литературной манеры Фонвизина: полнокровная реалистическая конкретная сатира, и отвлеченные, по схемам классицизма, положительные герои (несмотря на то, что и в положительных героях «Недоросля», вероятно, Фонвизин изображал типы людей, которых он, — казалось ему, — наблюдал в жизни). Но сила социального протеста, гнева Фонвизина была так велика, ему так необходимо было «похоже» показать лицо своего врага, что он поневоле, может быть, сблизился с бунтарским предреализмом Дидро, Седена или Мерсье. В «Недоросле» он дал наброски сложных характеров, индивидуальных и, что важнее всего, социально обусловленных (Простакова, Еремеевна), создал картину быта, «среды», подлинной жизни. «Недоросль» явился одной из крупнейших побед на путях русской литературы к реализму.

Параллельно тому процессу выращивания реализма из недр наиболее передового течения в классицизме, который нашел самое яркое выражение в творчестве Фонвизина, но проявился и у Хемницера, и у Капниста, и у Княжнина, шел другой процесс накопления реалистических тенденций и элементов в творчестве «разночинских» писателей типа Чулкова (отчасти и у Ф. Эмина в его психологическом романе «Письма Эрнеста и Доравры», но иначе, чем у Чулкова). Утопическая отвлеченность мышления русских дворянских классицистов чужда Чулкову и людям его круга, не нужна им, да и не по плечу им. В теориях классицизма они разбираются не хотяг. Их интересуют не «разумные» нормы, а житейские и вовсе неразумные факты. В их творческой практике преобладает не высокая поэзия, а сюжетная проза, повесть, роман, анекдот-фацеция.

Чулков, напр., ставя перед собой задачу развлечь и поучить своего «низового» читателя, хорошо знает, что с этим читателем надо разговаривать не о пустопорожних для него отвлеченностях, а о жизни, о суровой, неприятной жизни, управляемой барам и трудно дающейся «маленькому человеку». От этой жизни некуда податься «маленькому человеку», все его интересы и помыслы — в ней, и даже сказки его, его мечты возвращают его к своему узкому, замкнутому бытовому обыденному миру. В некоторых повестях Чулкова, в его «Пригожей поварихе», мы видим характернейшие проявления этого ограниченного и все же тяготеющего к постановке реалистической проблемы склада ума и творчества. Сюда же примыкают по своему характеру сборники анекдотов, составившиеся, переводившиеся (конечно, вольно) и издававшиеся во второй половина века, сборники повестей и повестушек, опиравшихся и на фольклор и на ранние веяния буржуазного реализма, шедшие с Запада (может быть, интереснейшим из них был сборник Ив. Новикова «Похождения Ивана гостинного сына»). Во всей этой литературе, сыгравшей немалую роль в свое время, нет, разумеется, законченного и осознанного реализма, но в ней есть

отрицание отвлеченного, рационалистического мировоззрения классицизма.

Скорее можно говорить, в применении к данному литературному течению, о натурализме. Чулков и его собратья хотят без осуждения и без прославления показать, «сфотографировать» жизнь, которая представляется им скопищем индивидуумов, эгоистов, рвущих друг у друга добычу. И они показывают эту — по их взгляду реальную — жизнь, в общем довольно противную, подлую жизнь, основанную на эгоизме, страстях, объегоривании друг друга, а все-таки такую именно, с какой приходится иметь дело «разночинцу» XVIII в., стремящемуся победить, оседлать ее, суровую жизнь. Чулков и писатели его круга не могут, да и не хотят подняться до обобщений; их образы скорее индивидуальные, может быть, даже несколько «случайны», а не типичны; они не стремятся к глубокому раскрытию законов, сущности общества, бытия человека. Они не дают и сколько-нибудь детального психологического анализа. Их искусство эмпирично прежде всего. Оно — протоколирует действительность, регистрируя житейские случаи один за другим, без глубокой внутренней связи, деловито, скупое давая отчет о них. Жизнь человека распадается при этом на отдельные кусочки. Эта манера явно противостоит методу механических и отвлеченных обобщений классицизма.

Чулков, Ив. Новиков и др. разрушали классицизм как враждебную им стихию мысли и творчества. Эмпирически идя за бытом, не поднимаясь над ним, они все же сделали полезное дело, введя в литературу этот быт, простую, конкретную, обыденную жизнь, обычных людей; они показали, что не только в системе отрешенности, свойственной классицизму, заключено искусство; их протокольный, «неизящный», деловой, подчеркнута простой язык еще больше связывал литературу с практической жизнью. Здесь шло накопление материалов — отчасти сырых материалов — для реалистического романа XIX в. И огромную положительную роль в работе Чулкова, Ив. Новикова, Курганова и др. сыграл опять-таки фольклор. Могучая сила реалистического мировоззрения, мощные пласты реалистических образов, крепкая база народной речи, — все это было неиссякаемым источником и для писателей Чулковского типа. Фольклорные искания обогатили их творчество, иногда подводя их эмпирически протокольную манеру к границам реализма. В этом смысле связь их литературной работы с фольклорными материалами — тема весьма существенная для понимания судеб русского реализма и русской литературы в целом.

Как это ни покажется, может быть, парадоксальным, не так далек от этих «разночинцев» в литературе в смысле своего пути к реализму и величайший русский поэт XVIII столетия Державин. Разрушение классицизма и обретение реалистических путей в творчестве Державина во всей социальной глубине этого явления — это одна из неотложных проблем истории русской литературы XVIII в. Эта проблема поставлена в нашей науке, но она

подлежит еще обстоятельному раскрытию на изучасмом всё более пристально материале. Мы всё более убеждаемся в том, что, несмотря на эмпиричность, натуралистические тенденции, Державин в сфере поэзии сделал более чем кто-либо до Пушкина для построения реалистической системы. Исключительная конкретность, предметность его творчества, материальность мира, им изображаемого — это было завоевание именно в данном направлении, так же как его поэтическая концепция человеческой личности, характера. Державин раскрывается для нас как поэт, откликнувшийся на передовые современные ему течения эстетической мысли. Винкельман, а затем и Дидро — вот с какими мыслителями сопоставил исследователь творческий метод Державина, и сопоставление это убедительно и органично (см. статью Е. Я. Давыко в настоящем сборнике); и тем более значительно раскрытие того, что даже мифологические, по внешности классические, образы Державина — не словесный орнамент, не рудимент классической отвлеченности, а словесное воплощение конкретных, виденных Державиным, предметов, что и эти образы — такие же портреты реальных вещей, как и описание обеденного стола в «Жизни Званской» (см. ту же статью). Необходимо надо будет в дальнейшей работе советским ученым прояснить связи Державина с народной стихией в искусстве, в языке, в складе ума. Эту проблему выдвигают уже статьи Белинского: она замечена и Полевым. Исследование этого вопроса уточнит и обогатит наше понимание Державина и его влияния на русскую поэзию.

Может быть, наиболее остро стоит вопрос о реалистических тенденциях в применении к творчеству Радищева, и в связи с ним — Крылова и его литературной группы. Нет сомнения в том, что именно революционность и глубокий демократизм Радищева обусловили его стремление сорвать маску с социальной действительности, представить ее в ее до конца подлинном виде; при этом Радищев поднялся до принципиальных обобщений, построенных на реальном материале действительности. Не в такой степени и не совсем в таком же смысле сказанное можно отнести и к лучшим произведениям Крылова времени его журналов. Между тем деятельность Радищева как большого художника, да и творчество Клушина, Плавильщикова, отчасти и Крылова — настойчиво ставят вопрос о так наз. русском «сентиментализме», или предромантизме. Мы уже знаем, что в русской литературе было одновременно два сентиментализма, враждебных друг другу: радищевский и карамзинский. Мы можем утверждать, что радищевский сентиментализм, более близкий к Руссо, Мерсье, передовым англичанам, не только является «предромантизмом», но и «предреализмом». Однако этот вопрос, имеющий первостепенную важность, должен еще быть внимательно изучен. Так или иначе несомненно, что вклад Радищева в сокровищницу будущего реализма весьма велик.

С точки зрения данной проблемы придется еще немало поработать и над уяснением роли дворянского сентиментализма Карам-

зина, Муравьева, Дмитриева и др. Их значение в истории русского литературного языка бесспорно. С другой стороны, консервативный или даже прямо реакционный характер их идеологии также едва ли может вызвать сомнения. Между тем Пушкин, обязанный Радищеву как учителю политической мысли и политической поэзии, обязанный и Державину и Фонвизину, каждому по-своему, все-таки был в юности учеником Жуковского и вообще «карамзинистов». Вопрос о том, что — кроме языковой реформы — дали Пушкину Карамзин и его окружение, очень важен; это — вопрос о положительной ценности деятельности Карамзина и его школы; невозможно, неправильно, легкомысленно было бы не видеть, что работа Карамзина была ценна и положительна в ряде вопросов, несмотря на его политический консерватизм, но необходимы еще исследования, уясняющие эту проблему. Возможно, что вопрос будет стоять в плоскости признания карамзинистского психологического анализа завоеванием этой школы. Материалы для решения этого вопроса мы найдем и у Белинского, и у исследователей XX столетия.

Само собой разумеется, что указанными выше вопросами ни в малой степени не исчерпывается проблематика изучения русской литературы XVIII в. Эти вопросы были указаны здесь в качестве первоочередных. Поэтому нет необходимости подробно характеризовать в настоящей статье все те серьезные и ответственные проблемы, поставить и посылить разрешить которые должны в ближайшее время советские ученые. Достаточно будет вкратце поименовать хотя бы некоторые из них.

Существеннейшее значение имеет исследование проблем взаимосвязи русской литературы XVIII столетия с литературами западно-европейскими. Русская литература и в XVIII в. была частью общеевропейской, причем вовсе не какой-нибудь «провинциальной», отсталой частью. В своих «Тезисах доклада о задачах и принципах построения истории литературы XVIII века»¹ В. А. Десницкий пишет: «Изучая XVIII век, историк литературы должен отрешиться от традиционных ненаучных представлений о чрезмерной отсталости — общекультурной и литературной в России в XVIII в. . . Изучая международные литературные связи и взаимоотношения, историк литературы XVIII в. должен объяснить их не только в плане генетической обусловленности, но и в плане социальной направленности, как факты классовой борьбы, как этапы движения к национальной литературе, к народности в языке и литературе».

Необходимо также поставить вопрос, — еще совсем не освещенный в науке, о связях русской литературы с литературами народов СССР, связях, осуществлявшихся уже в XVIII в. не только в отношении украинской и белорусской поэзии, но и в отношении литератур кавказских народов и др.

¹ Тезисы эти являются дополнением к плану истории литературы, подготовляемой ИЛИ АН СССР.

Важно прояснить научно и диахронические связи русской литературы XVIII в., в частности глубочайшие связи ее с предшествующим литературным развитием Руси, с XVII столетием, непосредственно подготовлявшим почву для великих завоеваний петровского и послепетровского времени.

Наконец, огромное значение и в плане истории литературы имеет изучение исторического движения русского литературного языка в XVIII столетии, от Феофана к Ломоносову и от Ломоносова к Фонвизину и к Карамзину.

Над всеми этими — и рядом других — проблемами работают и будут работать советские ученые. Впереди еще много трудностей. Но мы надеемся, что коллектив советских ученых справится с задачей.